

**«Не нанесенные на карты человеческие страдания».
Проза Иоанны Батор о Валбжихе в контексте польской
постпереселенческой литературы 1990–2010-х гг.**

Адельгейм Ирина Евгеньевна
Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Институт славяноведения РАН
119991, Ленинский проспект 32-А, Москва, Российская Федерация
E-mail: adelgejm@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-5208-0848

Цитирование

Адельгейм И. Е. «Не нанесенные на карты человеческие страдания». Проза Иоанны Батор о Валбжихе в контексте польской постпереселенческой литературы 1990–2010-х гг. // Славянский альманах. 2021. № 3–4. С. 275–295. DOI: 10.31168/2073-5731.2021.3-4.4.02

Статья поступила в редакцию 28.08.2021.

Аннотация

Статья посвящена изображению Валбжиха в прозе современной польской писательницы Иоанны Батор (р. 1968), относящейся к поколению детей переселенцев на Возвращенные территории. Движимые потребностью с перспективы постпамяти заново укорениться в пространстве детства, они обратились к судьбам предков — как собственных, так и бывших жителей этих территорий, — значительно обогатив и расширив польскую литературную географию. Историческая травма, терапии которой служит творчество этих писателей, — отложенная травма миграции, опыт детей тех, кто строил свой дом на руинах своей и чужой жизни, опыт детей, повседневное пространство жизни которых постоянно обнаруживало следы изгнанного Другого, переживание Второй мировой войны не в реальности, а в виде разрушительных для психики и идентичности последствий. По разным причинам подлинное художественное осмысление и реализация аутопсихотерапевтического потенциала уникального пространства Возвращенных территорий оказалось возможно лишь после 1989 г. Проза И. Батор относится ко второй фазе этого процесса, когда перспектива своего рода ностальгического археолога, бережно отыскивающего, прочитывающего и воспе-

вающего следы прошлого — немецкого и польского, сменяется перспективой жесткой, лишенной идеализации рефлексии над удвоением в пространстве Возвращенных территорий исторической травмы.

Ключевые слова: *Иоанна Батор, Валбжих, польская постпереселенческая проза, Возвращенные территории, миграция, историческая травма, аутопсихотерапевтические функции художественного текста.*

Валбжих — бывший немецкий город Вальденбург, расположенный на так называемых Возвращенных территориях, отошедших к Польше по условиям Ялтинской и Потсдамской конференций, а также переговоров с СССР 1945–1956 гг. В послевоенные годы эти земли были заселены несколькими этносоциальными группами, которые отличались друг от друга не только обстоятельствами миграции (переселение добровольное или насильственное), но и вероисповеданием, ментальностью, бытовой культурой, стереотипами, предубеждениями, наконец, пережитым во время войны¹ и пр.

¹ Всего около 4,5 млн человек: «репатриантов» (а точнее — «экспатриантов») с окончательно утраченных Польшей Восточных Кресов, добровольных переселенцев из Центральной Польши и Великопольши (в том числе тех, кто был ранее выселен властями Третьего рейха с западных и северных окраин Польши на территорию Генерал-губернаторства), репатриировавшихся из СССР польских евреев, которым удалось найти там спасение во время войны, репатриантов из Франции, Германии, Румынии, Югославии, украинцев и лемков, выселенных из юго-восточных районов Польши в рамках операции «Висла» (1947), участников гражданской войны в Греции и др. Кроме того, хотя неофициально немецкое население начали выселять еще до Потсдамской конференции, а за 1945–1949 гг. было выселено более 3,5 млн человек, это происходило постепенно (немцы, особенно специалисты, использовались в качестве рабочей силы, что являлось также воплощением идеи «наказания» гражданского населения за преступления гитлеровской Германии; сами немцы, надеясь на изменение границы, в тех случаях, когда имелся выбор, порой медлили с отъездом, несмотря на санкции, отмененные только в 1950 г., и отсутствие гражданства ПНР, которое они смогли получить только в 1951 г.), а следовательно, были распространены ситуации вынужденного сосуществования, зачастую в одном доме.

В силу ряда причин предметом глубокой художественной рефлексии эта уникальная территория — пространство по сути заново формирующейся идентичности — стала лишь спустя полстолетия.

В литературе социалистической Польши к ней обращались Ю. Хен, Э. Бальцежан, Я. Бжоза, Г. Ворцель, А. Браун, Е. Пытляковский, Х. Пана, А. Ковальская, Л. Голинский, В. Грабский, Э. Паукшта, Р. Цабай, Л. Пророк, Е. Галушка, К. Олексик, З. Тшишка, К. Суходольская, Д. Сидорский, И. Довгелевичова, В. Шевчик, С. Сроковский, В. Жукровский, однако поскольку речь шла об одном из важнейших элементов государственной политики, тема находилась под строгим идеологическим контролем. Одной из главных стратегий власти в первые послевоенные годы стало строительство этнически гомогенного государства: согласно этой политике, Возвращенные территории осваивались не как область исторического сосуществования и взаимопроникновения культур и народов, а как часть новой мононациональной Польши. Все это — наряду с другими политическими и идеологическими мотивами — оказалось причиной того, что на протяжении десятилетий оставалась вопросом в значительной степени табуированным эта двойная трагедия изгнания и искоренения, сфокусированная в пространстве Возвращенных территорий и воплощенная в строке немецкого силезского поэта Хорста Бинека: «...а потом пришли нас выгонять те, кого тоже выгнали, из Львова»². За редкими исключениями проза, освещавшая проблему послевоенной миграции, особенно в 1950–1970-е гг., представляла собой явление скорее социологическое и политическое, чем художественное, и сумела поэтому создать лишь одномерную физическую карту региона: «Изображение местностей, рек и гор, дорог и промышленных предприятий, важнейших достопримечательностей и мест культа оказывалось чаще всего уплощенным — лишённые исторического контекста, местной символики, легенд и бытового знания бывших жителей, они представляли не более чем буквально понимаемой материей или же подчинялись политической идее. Зачастую на панораму новой земли накладывалась идеологическая сетка, базировавшаяся на убежденности в вине немцев и историческом, а прежде всего — моральном праве поляков на западные территории»³. Художественный и аутопсихотерапевтический

2 *Bienek H.* Baracke Deutschland // Deutschland, Deutschland: 47 Schriftsteller aus der BRD und der DDR schreiben über ihr Land. Salzburg, Wien, 1979. S. 18.

3 *Browarny W.* Literacki pejzaż Śląska. Wrocław i Dolny Śląsk w polskiej prozie współczesnej (1946–2005) // Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej. Wrocław, 2008. S. 153.

потенциал этого травмированного и травмирующего пространства оказался тогда практически нереализованным.

Еще одним фактором отсрочки художественного осмысления Возвращенных территорий стал психологический «крен» литературы в сторону *утраченного*, поскольку это пространство неразрывно связано с темой Восточных Кресов — пограничья географически, исторически, эмоционально «противоположного»: «Неутоленная тоска <...> привела к тому, что польская литература не получила достаточного художественного стимула для исследования жизни на новом пограничье, на земле пока лишь познаваемой, осваиваемой»⁴.

Миф Восточных Кресов — периферийного пространства, сыгравшего важнейшую роль в формировании национального дискурса, воплотившего идею польскости и одновременно поликультурности, — носит для польской ментальности знаковый характер. Топос Кресов — не просто определенная парадигма мышления о малой родине, опирающаяся в немалой степени на ее идеализацию. Это феномен наложения друг на друга родины идеологической и частной. В процессе насыщения метафорикой и символиккой историческая и географическая область постепенно становилась носителем исторической памяти. Окончательно ностальгический миф Кресов — как психологический и художественный опыт вневременного укоренения в утраченном, создававший «общину памяти», служивший экологической нишей⁵ и позволявший обрести иллюзию гармонии в хаосе идеологизированной жизни, облегчить боль искоренения, — сформировался после полной утраты этих территорий, и категория ностальгии заслонила возможность полноценного осмысления нового пограничья.

Освобождение от советского доминирования неизбежно повлекло за собой необходимость заново осмыслить отношения с Другим, проблемы границы, исторической ответственности, исторической памяти: «Оказалось, что советский каблук служил одновременно и прикрытием, отсрочивавшим расплату. После освобождения от него вскрылись долги по отношению к Другому, отнюдь не аннулированные, более

4 *Bakula B.* Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym) // *Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku.* Kraków, 2012. S. 166.

5 Неслучайно А. Загаевский и Ю. Корнхаузер в книге «Непредставленный мир» (1974) говорили в связи с литературой Кресов об эскапизме, отказе от участия в реальности.

того, обросшие за это время процентами»⁶. Постепенному проникновению дискурса постколониальной критики в рефлексию над феноменом Восточных Кресов⁷ способствовала и по сей день не законченная общественная дискуссия о Холокосте на территории Польши и соучастии поляков в уничтожении еврейских соседей. В этом контексте миф о поликультурности Восточных Кресов, идеализирующий польский исторический опыт взаимоотношений с Другим, служит своеобразным «алиби», «доказывая» отсутствие в истории Польши колонизаторских эпизодов и являясь очередным примером превращения символического пространства «в реальную сферу политики»⁸. Одновременно стали отмечаться неполиткорректность самого понятия «Кресы» («окраина») и необходимость отказаться от него в пользу термина «пограничье», поскольку первое однозначно акцентирует их *польскую* принадлежность, раздражая «восточных соседей Польши, о чувствах которых нельзя забывать»⁹. В этом контексте попытка объективного осмысления погра-

6 Zajas K. Kresy skreślone, czyli o polskiej wielokulturowości // Wielogłos. 2009. № 1–2. S. 110.

7 Beauvois D. Mit “kresów polskich”, czyli jak mu położyć kres // Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Wrocław, 1994. T. IX; Beauvois D. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Lublin, 2005; Bakula B. Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego // Teksty Drugie. 2006. № 6; Gosk H. Opowieści «skolonizowanego/kolonizatora». W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, 2010; Gosk H. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze. Kraków, 2011; Sowa J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, 2011; Rybicka E. Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne // Rocznik Komparatystyczny. 2011. № 2. S. 141–161; Sowa J. Od folwarku na kresach Rzeczpospolitej do Jarmarku Europa. Polska dawna i dzisiejsza w kapitalistycznej gospodarce-świecie // Polska & Asia. Od Rzeczpospolitej szlacheckiej do Nangar Khel. Przewodnik interdyscyplinarny. Poznań, 2013; (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Kraków, 2013; Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Kraków, 2014; Gosk H. Wychodzenie z «cienia imperium». Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków, 2015.

8 Mikołajczak M. Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej // Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni. Kraków, 2014. S. 89.

9 Beauvois D. Mit “kresów polskich”, czyli jak mu położyć kres // Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Wrocław, 1994. T. IX. S. 94.

ничного пространства Возвращенных территорий оказывается жестом психологической компенсации исторических комплексов, связанных и с Холокостом, и с Восточными Кресами. Литература ощутила потребность в обогащении национальной идентичности, символическом восстановлении исторически и идеологически утраченной полиэтничности и полирелигиозности.

Обращение к пространству Возвращенных территорий стало также реакцией на утрату после 1989 г. критерием «польскости» как главного способа самоидентификации его бывлой значимости, определенности и самодостаточности. На фоне интенсивного процесса децентрализации культуры значительная часть прозаиков обратилась к осмыслению пространства «малой родины»¹⁰: художественное его освоение позволяло опереться не на национальную идею, а на семейную память и связь с регионом.

Э. Рыбicka отмечает, что 1990-е гг. для Европы в целом — период «локализации культуры», пристального интереса к бывшим перифериям и пограничьям с их сложным — многонациональным и поликультурным — прошлым, возрождения топоса «малой родины»¹¹. Однако в польской литературе к этому моменту уже существовала богатейшая традиция литературы «частной родины», опирающаяся на эстетическое осмысление Восточных Кресов — прежде всего послевоенная (в значительной части эмигрантская) автобиографическая и мифобиографическая проза Е. Стемповского, Ч. Милоша, Ст. Винценца, Вл. Одоевского, Ю. Лободовского, Ф. Чарнышевича, З. Хаупта, Ю. Стрыйковского, Т. Конвицкого, Л. Бучковского, А. Кусьневича, А. Стойовского и др., сформировавшая семантическую матрицу «малой родины». Именно она сделала возможным столь стремительное формирование в польской прозе 1990–2010-х гг. топоса Возвращенных территорий.

Наконец, важнейшую роль сыграл социолого-психологический фактор: на рубеже 1980–1990-х гг. в литературу пришли дети переселенцев, для которых полное укоренение в пространстве детства оказалось невозможным без рефлексии над судьбами предков — как собственных, так и бывших жителей этих территорий. Именно их детское сознание поражали «доставшиеся в наследство» немецкие надписи, детали немецкого быта, немецкая архитектура и пр. (что,

¹⁰ *Przybylski R. K. Polska małych ojczyzn // Przybylski R. K. Wszystko inne. Poznań, 1994.*

¹¹ *Rybicka E. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków, 2014. S. 477–482.*

кстати, является выразительным свидетельством того, что пропагандировавшаяся прапольскость этих земель не выдержала конфронтации с реальной повседневностью существования среди следов немецкого культурного наследия).

Таким образом, лишь *спустя полстолетия* Возвращенные территории стали предметом свободной художественной рефлексии. И, как предсказывал в середине 1990-х гг. Ч. Милош, — надолго остались значимой темой, будучи одним из важнейших сюжетов, связанных с «послевоенным исходом населения с востока на запад, породившим *не нанесенные на карты человеческие страдания* [курсив мой. — *И. А.*]»¹².

Романы Иоанны Батор, Бригиды Хельбиг, Зыты Орышин, Павла Хюлле рубежа 2000–2010-х гг. относятся ко второй волне прозы детей переселенцев. Это следующий этап обживания бывшего немецкого пространства: от обнаружения *следов* в 1990-е гг. к анализу *истоков*. Пытаясь проследить генезис и последствия собственной размытой идентичности, авторы-повествователи подробно исследуют уже не предметный мир, а людскую «ткань» пространства бывших немецких, ныне польских городов Штеттин / Щецин, Вальденбург / Валбжих, Зальцбрунн / Щавно-Здруй, Нойдам / Дембно, Альтвассер / Старый Здруй, Данциг / Гданьск и пр.

Иоанна Батор, уроженка Валбжиха, в дилогии «Пяскова Гура» (2009) и «Заоблачье» (2010), а также романе «Темно, почти ночь» (2012) описывает «смену населения» в отныне польском городе: «Под Валбжихом — уголь, а сверху песок и люди, нанесенные со всего света на место тех, кто был изгнан. В бывших немецких домах книги с готическим шрифтом идут на растопку, Шнайдера, который вовсе не напоминает портного, — в расход, Вассер после кипячения превращается в воду»; «Одни <...> в бывших немецких домах, которые заняли родители, переброшенные на территории возвращенные с территорий утраченных, другие выкопаны из мазовецких деревень и скатились в шахты Валбжиха, словно картофелины с пьяной телеги»¹³; «Нас объединяло то, что мы оба были не дома и пытались чем-то заменить то, что замене не подлежит, — подлинную жизнь»; «Они и сами не знали, что привело их сюда, поэтому решили, что не следует требовать ответа на этот вопрос от других»¹⁴.

12 *Miłosz Cz. Miejsca utracone // Miłosz Cz. Szukanie ojczyzny. Kraków, 1996. S. 211.*

13 *Bator J. Piaskowa Góra. Warszawa, 2009. S. 12, 31.*

14 *Bator J. Ciemno, prawie noc. Warszawa, 2012. S. 290, 510.*

История семей состоит из сдвигающихся границ («Мы не раз подходили к этой колючей проволоке — достаточно было сделать один шаг, и ты бы оказался в другой стране. Но и этот шаг делать не пришлось — другая страна сама его сделала»), переселений («Они больше никогда не увидят родной дом»; «Мы снова оказались на пути изгнания, ведущего, быть может, к смерти»; «...успокоился в холодной земле, вдали от родины»; «З. был далеко. Словно в какой-то первой жизни, на другой земле, которую поглотил океан»), которые раскалывают жизнь («Перемазанный в крови коня, он перебрался на другую сторону жизни»; «Мы не знали о капитуляции Гитлера, понятия не имели <...>, что через опустевший город прокатится вскоре новое зло»), прерывают национальные традиции. Предкам не раз приходится выбирать идентичность («<...> и я стал Альбертом Кукулкой, в третий и последний раз сменив идентичность») и утрачивать ее («Я не взял ничего, даже документов, поскольку указанная в них идентичность мне не принадлежала»; «Рассказ пана Альберта погрузил меня в сон, полный подозрений, что никто не является тем, за кого себя выдает <...> даже мое тело казалось мне чужим, подмененным»¹⁵).

На этом следующем этапе художественного освоения пространства Возвращенных территорий проза делает своего рода «шаг вглубь» — от поэтизации в 1990-е гг. мира детства детей переселенцев — к психологии и социологии опыта их родителей, бабушек и дедушек, а также их собственной травме, т. е. от эмпатической *археологии* и *топологии* к эмпатической *биографии*. В 2000–2010-е гг. бывшие немецкие вещи перестают быть завораживающим следующее поколение слоем палимпсеста и изображаются уже как предмет добычи и дележа. Именно сейчас проза обратилась к теме мародерства, достигшего на бывших немецких землях масштабов «золотой лихорадки» и ставшего в первые послевоенные годы важнейшим элементом повседневности: «Весь двор перед домом перекопали в поисках закопанного немцами. Причем каждый мысленно выкапывал свое. Серебряные столовые приборы, которые бабка из-под Самбора собиралась внучке подарить, но не успела и в саду закопала, чтобы уже никогда не выкопать. Вот если бы там закопанное тут выкопать — это было бы справедливо. <...> Как же они копали!»; «Так что люди сидели на корточках и копали в надежде, что в утешение за то, что им пришлось оставить или чего у них никогда не было, здесь выкопают что-то другое, докопаются до чего-то такого, что позволит им встать на ноги. Хоть пару злотых!

15 Ibid. S. 112, 59, 101, 127, 168, 104, 284, 510, 159, 160.

Копали по ночам при свечах и керосиновых лампах, копали с шахтерскими фонариками на лбу, и сосед вставал против соседа; иной раз и кровь лилась, если интересы копающих пересекались. Ясновидящих приводили с палочками и цыганок. <...> Раскопали весь двор дома Халины и Владека, подкопали фундаменты соседнего дома, вырвали полы в деревянных сарайчиках, перекопали одичавшие сады и подкопали асфальт, так что тот провалился. Самые неистовые копали так долго, что исчезали из виду. От них оставались только узкий коридор, из которого летели комья земли, да плачущие жены, а они в конце концов выныривали на другом конце планеты с пустыми руками и, жмурясь на солнце, вдвое превосходящем валбжихское солнце, удивленно глядели на австралийских кенгуру и утконосов»¹⁶). Батор описывает и ощущение свалившегося на счастливицкоз изобилия («...после дождя фарфоровые танцовщицы и пастушки сами высовывали бледные ручки, ножки из-под земли — мол, найдите нас. Хозяйки выходили с корзинкой и собирали их, словно молодые грибочки...»¹⁷), и чувство зависти и сожаления, неизбежно сопутствующее дележу («Другие целые дома отхватили, бабка рассказывала, и в этих домах все было как на тарелочке с голубой каемочкой — постели застелены, столы накрыты, кладовые полны, заходи да живи, такая удача, другим вот повезло, а ему одно дерьмо досталось»; «Так или иначе, опоздали они, не повезло <...>»¹⁸; «Халина бы предпочла, как и каждый в Валбжихе, занять бывший немецкий дом с садом <...>, где новым жильцам случалось выкапывать под кустами целые сервизы с надписью “Бавария”, фигуры святых, набитые монетами, столовые приборы и напольные часы, у которых еще даже завод не кончился...»; «Они добрались до Валбжиха слишком поздно, чтобы принять участие в дележе самого ценного имущества»¹⁹). Предметы не имеют собственного голоса (или — в редких случаях, как в романе Батор «Темно, почти ночь» — он подчеркнуто «негативен») и возникают лишь в связи с реальными людьми — утилитарно или как признак определенного образа жизни, обживания пространства и т. д. Герои *используют* вещи, а не *прочитывают* их: «Она шла в платье, сшитом из немецкой занавески...»; «Наконец-то они перестанут ютиться в бывшей немецкой труппе, будет покончено с гитлеровскими шкапами и гестаповскими унита-

16 Bator J. Piaskowa Góra. S. 69–70, 71.

17 Ibid. S. 72.

18 Bator J. Ciemno, prawie noc. S. 97–98.

19 Bator J. Piaskowa Góra. S. 72, 73.

зами...»; «Халину спасла от голода Гражинка Розпух, подарившая ей бывшую немецкую швейную машинку...»²⁰. Повествование остается эмпатическим, однако направлено на человеческий быт, а не на бытие вещей как носителей ностальгии (своей, своих предков и изгнанных немцев). Сохранившиеся вещи не стремятся о чем-либо рассказать, а просто сосуществуют с вещами переселенцев: «Мой взгляд вылавливал из мрака очередные брошенные вещи, часть из которых была оставлена немецкими хозяевами дома, когда они поспешно покидали город после войны: машинка Зингер с металлическим скелетом и надписью “Вальденбург”, картинка с ангелом-хранителем, который переводит детей через пропасть, некрасивые фарфоровые фигурки пастушек и охотников, покрытые толстым слоем пыли. Наши вещи осели на этих, ранее брошенных, словно борозда, оставленная отступающим ледником, и ветшали теперь вместе с ними»²¹.

Акцент явственно смещается с предметного мира на человека. Своеобразным символом этого изменения в романе Батор «Темно, почти ночь» может служить обнаружение польскими переселенцами в подвале доставшегося им дома немецкого ребенка: «Меня нашла пани Кукулка, когда спустилась в подвал, чтобы взглянуть, что для чего может пригодиться в выделенном им доме. Кроме мешка гнилого лука, старого корыта и двух бутылок масла там обнаружился я» — т. е. переселенцы «получают бывший немецкий дом с довеском в виде бывшего немецкого мальчика»²².

Соответственно и более значимым мотивом, нежели переименование улиц и городов (лейтмотив постпереселенческой прозы 1990-х гг.), становится смена имен и фамилий: «...я стал Альбертом Кукулкой. <...> Если что-то есть на том свете, <...> то я понятия не имею, как мне представиться после смерти»; «Я, их приемный сын, прожил свое как Альберт Кукулка и как Альберт Кукулка в очередной раз встретил Розмари, которую тоже уже звали иначе»²³.

Власти ПНР пропагандировали заселение Возвращенных территорий как соблазнительную возможность начать все сначала, однако это оказывается иллюзией: это пространство ни для кого не становится землей обетованной. Все страдают бездомностью, искорененностью и неукорененностью, раздвоенностью («Владек не доверял

20 Ibid. S. 8, 27, 86.

21 *Bator J. Ciemno, prawie noc*. S. 28.

22 Ibid. S. 509.

23 Ibid. S. 510, 291.

врачам из Валбжиха (там, там были врачи, а тут одни коновалы)»; «По мнению Владека, там все было лучше, и когда порой у него не оказывалось под рукой хорошего молотка, чтобы забить гвоздь или прибить подметку в преддверии зимы, он говорил: там-то у меня был молоток, или — там-то у меня были ботинки, и больше ничего не добавлял, никаких деталей, поскольку для него было очевидно, что разница между молотками и ботинками тамошними и здешними каждому очевидна, как солнце»; «“Там” Владека становилось все прекраснее...»; «Дом? Какой дом? <...> Дом у них был там. Там был дом...»), все чужие друг другу и самим себе («... пока никто здесь не свой»; «Она вдруг понимает, что одной из причин ее печали является отсутствие травы под ногами, с внезапной очевидностью вспыхивает под поникшим великолепием ее прически память сада из Залесья»²⁴; «...были хорошими людьми, очень печальными и обреченными на вымирание, потому что им не удалось пустить корни»; «Пооткрывались! <...> Дыры, щели, шрамы»²⁵).

Страдания «не нанесены на карту», загнаны внутрь, исковерканное и не оплаканное прошлое как немцев, так и поляков не может служить фундаментом ни для поколения переселенцев, ни для поколения их детей, которые вопреки ожиданиям наследуют травму: «Те, кого занесло в Валбжих, размножились в надежде, что дети родятся с корнями, которые им самим отрубили, и тогда они смогут ухватиться за своих укорененных детей и почувствуют себя на своем месте, дома»²⁶. Именно об этой *унаследованной* травме неполной или поверхностной принадлежности к данному от рождения пространству, бездомности, болезненной неоседлости, размытой идентичности проза 2000–2010-х гг. впервые говорит так открыто и жестко: «...трудно идти по следам тех, кого смело ветром истории»²⁷. Это бремя может быть незримым («Страх, в тени которого я жила все эти годы, хотя источника его я по-прежнему не знаю»²⁸) или проявляться в социальном поведении (сын переселенцев в «Пясковой Гуре» боится выходить из дому, поскольку передвижения «ассоциировались у него с трагедией изгнания и утраты имущества, а не с удовольствием знакомства с новыми местами. <...> Сначала он избегал только далеких поездок,

24 *Bator J. Piaskowa Góra. S. 76–77, 69, 12, 64.*

25 *Bator J. Ciemno, prawie noc. S. 290, 163.*

26 *Bator J. Piaskowa Góra. S. 53.*

27 *Ibid. S. 52.*

28 *Bator J. Ciemno, prawie noc. S. 417–418.*

потом неохотно ходил даже на рынок <...> и, наконец, мог прийти уже только до Одры, откуда был виден дом. Постоянно подпитываемый страх вырос в его сердце, окрепнув и сделавшись ядовитым. <...> Он оплел его печень и душил сердце, лез из ушей, распухал на языке. <...> Какой смысл в том, что я делаю вагоны, говорил он, кто знает, может, однажды нас же самих в них и посадят и снова увезут к чертовой матери»²⁹), но неизменно мучительно.

В прозе 2000–2010-х гг. уже отсутствует сентиментальная мифологизация детства с его метафизическими тайнами и открытиями, неразрывно связанными с немецким прошлым. В романе «Темно, почти ночь» Валбжих предстает не раем, но адом детства, фантазмагорическим пространством, впитавшим множество трагедий. Неслучайно автор использует реквизит готического романа и романа-триллера: руины, подземелья, подвалы, лабиринт, загадочные комнаты и таинственные переходы, похищения, безумие, насилие, самоубийства, убийства, некрофилия, поиски клада, письма с того света, таинственные звуки, тени, исчезновения рукописей, издевательство над животными, призраки, калеки, странные герои, над которыми тяготеют мрачные тайны, и пр. Инфернальность ощущается в большинстве реальных повседневной жизни описываемого в романе Валбжиха: «...можно выйти за спичками и не вернуться, в ноябре, если хорошенько приглядеться, увидишь, что в каждой луже видна лестница, ведущая под землю»; «дом полон смерти и привидений»³⁰.

Сестра героини, хоть и «читает» — подобно маленьким героям прозы С. Хвина и П. Хюлле 1990-х гг. — окружающее пространство, однако, в отличие от них, читает словно бы негативно: «как по нитке» идет «туда, где когда-то случилось что-то плохое»³¹, словно бы кожей ощущая все сконцентрированное в этой земле зло. Характерно, что взрослая героиня вспоминает, как находила «следы» бывших хозяев в немецком доме своего детства и даже «хранила в спичечных коробках», однако, в отличие от поэтизированных немецких следов в прозе 1990-х гг., они пугают и отталкивают своей интимностью и физиологичностью: «ногти и волосы»; «Ты снова выковыряла немца из пола <...>. Щели, как могилы...»³². Это призраки не только выселенных немцев — здесь «можно было встретить жаждущих мести еврейских узников лагеря Гросс-Розен, которых здесь

29 *Bator J. Piaskowa Góra*. S. 353.

30 *Bator J. Ciemno, prawie noc*. S. 122.

31 *Ibid.* S. 307.

32 *Ibid.* S. 20.

убили и закопали где-то в лесу...»; «Через местные лагеря прошло тринадцать тысяч узников, пять тысяч погибло и лежит в этой земле»³³. Детство героев неотделимо от страшных видений: «... в половине третьего из леса появляются толпы полупрозрачных фигур с красными глазами, лезут по стенам, словно пауки, стучат в окна домов, заползают в подвалы и колотят в пол, просят стакан воды, кусок хлеба, бумагу и карандаш, но никто не слышит их голосов»; «... столько призраков. Немецкие жили в щелях пола и писали под утро в нашей ванной, еврейские заглядывали в окна и подбирали крошки хлеба на подоконнике нашей спальни»; «... в это время призраки немцев идут в туалет»³⁴. Взрослая героиня продолжает бояться («... я боюсь. Этого дома...») и тоскует по «новой, не обремененной прошлым» варшавской квартире, где пол не имеет «щелей, из которых можно выковырять немца или еврея»³⁵. Из страшного дома детства невозможно убежать: «Быть может, мне только снилось, что я — Алиция из того светлого дома, а моя настоящая жизнь все это время шла здесь»³⁶. Другие дома, которые приходится посетить героине в процессе расследования страшных загадок города, оказываются для их хозяев символом не космического порядка, но хаоса распада. Из красивых средневековых домов новых жителей «словно бы изгоняли духи прежних хозяев» — «люди бежали отсюда в непонятной спешке в чудовищные новые блочные коробки»³⁷. «Бывшие немецкие ножи», которые «все еще хранятся в валбжихских домах», идут в дело, словно чеховское ружье («Я стала здесь женщиной, которая носит в сумочке бывший немецкий нож, собственноручно наточенный о каменный порог»³⁸).

В восприятии авторов 2000–2010-х гг. не может служить ни раем, ни началом начал земля, с которой изгнали бывших жителей, безжалостно растоптав и затоптав следы их существования, земля, населенная, в свою очередь, носителями собственной травмы. Неслучайно «Вавилонская башня» (так называют в Валбжихе многоэтажный дом, в котором живут переселенцы) в романе «Пяскова Гура» в конце концов «теряет равновесие и погружается одним краем в размокший хребет Пясковой Гуры» — *чужой* почвы, на которой он был воздвигнут. Пространство описывается при помощи образов, акцентирующих временность, нео-

33 Ibid. S. 43, 87.

34 Ibid. S. 88, 130, 129.

35 Ibid. S. 20, 76.

36 Ibid. S. 138.

37 Ibid. S. 93.

38 Ibid. S. 262, 354.

седлость, неустойчивость. Валбжих — «реальность временная и наскоро смётанная»³⁹, «город прибуду», идентичность жителей которого «склеена из кусочков», а жизнь подобна «сошедшему с рельсов и сползающему по горному склону поезду: теряется багаж с нужными вещами, а в окна летит чужое имущество, шишки и птенцы»⁴⁰. Это не только территория формирующейся идентичности, но также и «поле борьбы за символическую власть, поскольку пейзажи могут заключать в себе ряд оспаривающих друг друга памятей. <...> В результате город как поле борьбы является не неподвижным объектом, статичным пространством, а динамическим членом отношений, понимаемым в перспективе, в процессах и практиках забвения, вытеснения, памяти, а следовательно, столкновения различных конфликтующих стратегий», — отмечает Э. Рыбicka. Поэтому в прозе 2000–2010-х гг. метафора палимпсеста, точно отражавшая происходившее в прозе 1990-х гг., перестает быть столь безупречно адекватной: «Говоря о наложении очередных разнокультурных и разновременных слоев города, эта метафора не затрагивает конфликтность, притаившуюся по краям, на стыках между, в щелях между слоями. Палимпсест описывает онтологию, не описывая отношения между ними. Эта метафора — статичная модель, она говорит о городе как о “камере хранения”, *residuum* памяти. Более адекватной представляется в данной ситуации концепция городского пейзажа памяти как поля конфликта, в котором сталкиваются различные дискурсы памяти (и практики памяти), политические, экономические, художественные, примиряющие и противопоставляющие, направленные сверху вниз и снизу вверх»⁴¹.

Неслучайно дом в романе Батор, как уже говорилось, называют Вавилонской башней: хотя все переселенцы «говорили примерно на одном и том же шершавом языке <...>, но зачастую сосед не понимал соседа»⁴². Отсюда фрагментарность повествования, воплощающая специфику отдельных судеб и идентичностей, а также истории Центральной Европы в целом, с характерным для нее наслоением внезапных перемен — миграций, переименований, переселений, войн, передвижений границ. Восстанавливаются не столько слои, сколько осколки — замалчивавшиеся, идеологизировавшиеся, недооценивавшиеся, застревавшие в самых разных местах — между, на стыке, под, на краях, в щелях, повсюду.

39 *Bator J.* Piaskowa Góra. S. 160.

40 *Bator J.* Ciemno, prawie noc. S. 166, 141, 509.

41 *Rybicka E.* Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki // *Teksty Drugie*. 2011. № 5. S. 203, 210.

42 *Bator J.* Piaskowa Góra. S. 32.

Следует добавить, что тексты Батор, как и вся проза этого течения, имеют выраженные аутопсихотерапевтические функции⁴³. Поскольку постпереселенческое повествование в значительной степени связано с травмой, порожденной замалчиванием, вытеснением, здесь используются элементы системно-семейных расстановок Б. Хеллингера — эмпатическое воспроизведение опыта предков и восстановление в правах тех, кто оказался забыт, не оплакан.

Эти психологически-художественные механизмы способствуют реконструкции истории, до сих пор исключенной из польского нарратива, — «непроизвольных, непосредственных свидетельств минувшей эпохи, способных рассказать антиисторию (по отношению к истории, пропагандируемой властью)»⁴⁴. Своеобразная эмпатическая археология и топография в 1990-е гг., а затем эмпатическая биография в 2000–2010-е гг., осмысление прошлого Возвращенных территорий как собственной предыстории, определяющей случайности и закономерности своей судьбы, пробуждают и оживляют данное от рождения, но не вполне освоенное символически пространство. Такое повествование, включающее в дискурс личной памяти бывших обитателей родной земли, проговаривание их и родительской травмы *искоренения* способствует собственному *укоренению* путем создания «автобиографических мест» — «семиотического, символического аналога аутентичного географического места и связанных с ним культурных представлений»⁴⁵. Это, в сущности, и есть обретение подлинной памяти. Постпереселенческое повествование у Батор отсылает также к методу первичной терапии (или терапии первичного крика) А. Янова, реактивирующей первичную травму путем постепенного снятия «словес» психологической защиты и связывания сохраненной и неосознаваемой памяти с телесными реакциями. Главная героиня «Темно, почти ночь» возвращается в родной Валбжих, чтобы провести журналистское расследование дела о похищении детей, а на самом деле — ведомая ощущением, что должна разобраться в себе и истории своей семьи. Батор почти буквально воспроизводит процесс терапии — вплоть до давшего название терапии Янова крика (роль символического терапевта играет мощный «двигатель» сюжета детектива-триллера и профессия

43 Подробнее см.: *Адельгейм И. Е.* Психология поэтики. Аутопсихотерапевтические функции художественного текста. М., 2018.

44 *Assmann A.* Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa, 2013. S. 77.

45 *Czerwińska M.* Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki // *Teksty Drugie*. 2011. № 5. S. 188.

репортера, заставляющие героиню все глубже погружаться в память свою, своей семьи, своих соседей, своего): «Я ощутила такую смесь гнева, тоски и боли, что закричала в пустоту ночного дома, которая ответила мне эхом. Тот день был во мне. Я помнила»⁴⁶. Символическое исцеление совершается также через катартический плач: «Я копила их столько лет, у меня был огромный запас, и мне казалось, что очищающая соленая волна заливают все места, будившие мою печаль, заливают подвал моего дома, подмывает сундук, в котором мы с Эвой прятались от матери <...>, и через окна выливается в сад, в лес, поднимается на поляну, где немецкие солдаты убили еврейских узников, где советские солдаты изнасиловали немецкую девочку»⁴⁷. Последний этап терапии — интеграция биографии повествовательницы, которую писательница наделила рядом автобиографических черт. Символом осознания того, что исковерканное немецкое прошлое является частью идентичности польских жителей Возвращенных территорий, становится «генеалогическое открытие» героини-повествовательницы: всегда считавшая себя чистокровной полькой, она оказывается дочерью поляка и немки, которая подростком была изнасилована вошедшими в Вальденбург советскими солдатами. Требовалось воспроизвести всю историю, найти все элементы мозаики, понять, что пережило пространство Возвращенных территорий. Только в этом случае возможна интеграция биографий этой территории и ее жителей.

Если память о Восточных Кресах закрепилась в польской ментальности и художественном сознании как рефлексия о феномене утраты, то топос Возвращенных территорий структурируется в результате острого переживания утраты *двойной* — от имени поляков и от имени немцев: происходит удвоение перспективы, памяти и постпамяти, ностальгии и меланхолии, двойное душевное усилие, двойная работа горя. При этом если в 1990-е гг. унаследованный от прозы о Восточных Кресах миф толерантности поликультурного пространства породил идею ностальгического и идеализирующего прочтения «палимпсеста», сам акт повествования о котором казался мгновенным преодолением разграниченности полиэтнического пространства, исцелением своей травмы и искуплением травмы, нанесенной Другому, то в 2000–2010-е гг. формулу диалога все чаще сменял образ конфликта, поликультурность виделась мифом, а путь к излечению травмы — трудным и долгим.

46 *Bator J.* Ciemno, prawie noc. S. 235–236.

47 *Ibid.* S. 428–429.

Тем не менее и в это время в основе топоса Возвращенных территорий лежит идея неуничтожимости памяти, передаваемой одним поколением и/или одним народом другому. Возвращенные территории воспринимаются как пространство, способное дать урок памяти, помочь понять, что мерой человечности оказывается не степень укорененности, но осознание собственной преходящести, искоренение в себе ревности к тем, кто был здесь раньше, и к тем, кто придет после. Повествователи проходят путь от «места» (относительно стабильное пространство существования человека, в котором он чувствует себя дома, смыслы и система координат которого им усвоены от рождения или хорошо освоены) через символическое воссоздание «не-места»⁴⁸ (пространства, характерного для субъектов перемещающихся, еще только познающих его элементы) обратно к «месту»: от своей земли через terra incognita к собственной экологической нише.

Источники и литература

Адельгейм И. Е. Психология поэтики. Аутопсихотерапевтические функции художественного текста. М.: Индрик, 2018. 648 с.

Assmann A. Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. 324 s.

Bakula B. Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym) // Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2012. S. 161–192.

Bakula B. Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego // Teksty Drugie. 2006. № 6. S.11–33.

Bator J. Ciemno, prawie noc. Warszawa: W.A.B., 2012. 528 s.

Bator J. Piaskowa Góra. Warszawa: W.A.B., 2009. 442 s.

Beauvois D. Mit “kresów polskich”, czyli jak mu położyć kres // Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. T. IX. S. 93–106.

Beauvois D. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Lublin: UMCS Wydawnictwo, 2005. 792 s.

Bienek H. Baracke Deutschland // Deutschland, Deutschland: 47 Schriftsteller aus der BRD und der DDR schreiben über ihr Land. Salzburg, Wien: Residenz Verlag, 1979. S. 18.

⁴⁸ *Gosk H.* Wychodzenie z «cienia imperium». Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków, 2015. S. 180.

Browarny W. Literacki pejzaż Śląska. Wrocław i Dolny Śląsk w polskiej prozie współczesnej (1946–2005) // Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej. Wrocław: Atut, 2008. S. 139–208.

Czerwińska M. Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki // Teksty Drugie. 2011. № 5. S. 183–200.

Gosk H. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze. Kraków: Universitas, 2011. 460 s.

Gosk H. Opowieści «skolonizowanego/kolonizatora». W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2010. 264 s.

Gosk H. Wychodzenie z «cienia imperium». Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2015. 264 s.

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Kraków: Universitas, 2014. 520 s.

Mikołajczak M. Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej // Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni. Kraków: Universitas, 2014. S. 88–106.

Miłosz Cz. Miejsca utracone // Miłosz Cz. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak, 1996. S. 34–50.

(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Kraków: Universitas, 2013. 604 s.

Przybylski R. K. Polska małych ojczyzn // Przybylski R. K. Wszystko inne. Poznań: Obserwator, 1994. S. 174–183.

Rybicka E. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014. 474 s.

Rybicka E. Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne // Rocznik Komparatystyczny. 2011. № 2. S. 141–161.

Rybicka E. Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki // Teksty Drugie. 2011. № 5. S. 201–211.

Sowa J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011. 584 s.

Sowa J. Od folwarku na kresach Rzeczypospolitej do Jarmarku Europa. Polska dawna i dzisiejsza w kapitalistycznej gospodarce-świecie // Polska & Asia. Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do Nangar Khel. Przewodnik interdyscyplinarny. Poznań: Fundacja Malta, 2013. S. 154–186.

Zajas K. Kresy skreślone, czyli o polskiej wielokulturowości // Wielogłos. 2009. № 1–2. S. 2–16.

References

- Adel'gym, I. Ye. *Psikhologiiia poëtiki. Autopsikhoterapevticheskie funktsii khudozhestvennogo teksta*. Moscow: Indrik, 2018, 648 p.
- Assmann, A. *Między historią a pamięcią. Antologia*. Warszawa: Warsaw University Publ., 2013, 324 p.
- Bakuła, B. "Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego." *Teksty Drugie*, no. 6, 2006, pp. 11–33.
- Bakuła, B. "Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym)." *Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku*, ed. by H. Gosk, Kraków: Universitas, 2012, pp. 161–192.
- Bator, J. *Piaskowa Góra*. Warsaw: W.A.B., 2009, 442 p.
- Bator, J. *Ciemno, prawie noc*. Warsaw: W.A.B., 2012, 528 p.
- Beauvois, D. "Mit 'kresów polskich', czyli jak mu położyć kres." *Polskie mity polityczne XIX i XX wieku*, vol. 9, 1994, pp. 93–106.
- Beauvois, D. *Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914*. Lublin: UMCS Publ., 2005, 792 p.
- Bienek, H. "Baracke Deutschland." *Deutschland, Deutschland: 47 Schriftsteller aus der BRD und der DDR schreiben über ihr Land*, ed. von Jochen Jung. Salzburg, Wien: Residenz Verlag, 1979, p. 18.
- Browarny, W. *Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej*. Wrocław: Atut, 2008, 250 p.
- Czermińska, M. "Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki." *Teksty Drugie*, no. 5, 2011, pp. 183–200.
- Gosk, H. *Opowieści "skolonizowanego/kolonizatora". W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku*. Kraków: Universitas, 2010, 264 p.
- Gosk, H. *Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze*. Kraków: Universitas, 2011, 460 p.
- Gosk, H. *Wychodzenie z "cienia imperium". Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku*. Kraków: Universitas, 2015, 264 p.
- Gosk, H., Kołodziejczyk, D., editors. *Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej*. Kraków: Universitas, 2014, 520 p.
- Gosk, H., Kraskowska, E., editors. *(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś*. Kraków: Universitas, 2013, 604 p.
- Mikołajczak, M. "Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej." *Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni*, ed. by D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków: Universitas, 2014, pp. 88–106.

Miłosz, Cz. *Szukanie ojczyzny*. Kraków: Znak, 1996, 217 p.

Przybylski, R. K. *Wszystko inne*. Poznań: Obserwator, 1994, 197 p.

Rybicka E. “Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki.” *Teksty Drugie*, no. 5, 2011, pp. 201–211.

Rybicka, E. “Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne.” *Rocznik Komparatystyczny*, no. 2, 2011, pp. 141–161.

Rybicka, E. *Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich*. Kraków: Universitas, 2014, 474 p.

Sowa, J. *Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą*. Kraków: Universitas, 2011, 584 p.

Sowa, J. “Od folwarku na kresach Rzeczypospolitej do Jarmarku Europa. Polska dawna i dzisiejsza w kapitalistycznej gospodarce-świecie.” *Polska & Asia. Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do Nangar Khel. Przewodnik interdyscyplinarny*, ed. by M. Cegielski, Poznań: Fundacja Malta, 2013, pp. 154–186.

Zajas, K. “Kresy skreślone, czyli o polskiej wielokulturowość.” *Wielogłos*, no. 1–2, 2009, pp. 2–16.

DOI 10.31168/2073-5731.2021.3-4.4.02

Adel'geym I. Ye. (Moscow)

“The human suffering unmapped”. Joanna Bator’s prose on Wałbrzych in the context of Polish post-resettlement literature of the 1990–2010s

Adel'geym Irina Yevgenyevna

Doctor of Letters, leading research fellow

Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences

119334, Leninsky Prospect 32-A, Moscow, Russian Federation

E-mail: adelgejm@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-5208-0848

Citation

Adel'geym I. Ye. “The human suffering unmapped”. Joanna Bator’s prose on Wałbrzych in the context of Polish post-resettlement literature of the 1990–2010s // *Slavic Almanac*. 2021. No 3–4. P. 275–295 (in Russian). DOI: 10.31168/2073-5731.2021.3-4.4.02

Received: 28.08.2021.

Abstract

The article is devoted to the depiction of Wałbrzych in the prose of the modern Polish writer Joanna Bator (b. 1968), referring to the generation

of children of migrants to the Returned Territories. Driven by the need to re-root in the space of childhood from the perspective of post-memory, they turned to the fate of their ancestors and of former inhabitants of these territories, significantly enriching and expanding the literary geography of Poland. The historical trauma, to the therapy of which the work of these writers serves, is in fact a delayed trauma of migration. It is the experience of the children of people who built their homes on the ruins of lives (both their own and others') and whose everyday life constantly revealed traces of the expelled Other. In other words, it was the experience of the Second World War. It was lived through not in reality, but in the form of destructive consequences for the psyche and identity. For various reasons, genuine artistic comprehension and realization of the autopsychotherapeutic potential of the unique space of the Returned Territories became possible only after 1989. J. Bator's prose belongs to the second phase of this process, when the perspective of a nostalgic archaeologist who carefully searches, reads and glorifies the traces of the past (both German and Polish), is devoid of idealization and replaced by the perspective of rigid reflection on the doubling of historical trauma in the space of the Returned Territories.

Keywords

Joanna Bator, Wałbrzych, Polish post-resettlement prose, Returned Territories, migration, historical trauma, autopsychotherapeutic functions of a literary text.